

Образ

Солнца пробрызг сквозь листву,
пение пятен
по рукаву, по лицу,
снова по платью.

Это я в прятки вожу,
в области вмятин
памяти слепо брожу, —
образ невнятен,

но проступает сквозь даль
жаркого полдня
моря текучая сталь,
лик земноводной

тонкой пловчихи одной, —
пеною создан,
тела сшивает иглой
воду и воздух,

ладно ласкаясь к песку,
с дрожью пупырчатой

сохнет на берегу
в вечности вычерчен

лёгкий набросок, где ты
линией плавною
намертво схвачена. Стынь
ночи, но главное –

твой дар мгновеннозасыпания,
как будто бог поцеловал,
и светлый холодок дыхания
всю ночь мне шею щекотал.

Пляска смерти

Из пещер, туманом повитых,
выползают стаи:
счастье убить или быть убитым, –
плоть тяжела им.
По канавам собаки лают,
слышь, стреляют.

Вот пройдем эту слизь и мгливість, –
счастье не за горами, –
и наткнемся на справедливость,
с ней победа за нами,
с нею сподручней крушить, –
надо же чем-то жить.

Вспыхнут фантомы правого дела
слева и справа,
чтобы горело бедное тело
в яркой оправе.
Гори, родное, напрасно,
чтобы ярость не гасла.

Совершим подвиг веры,
замутим всемирную бучу,
только б властитель нашей пещеры
ихних ущучил.
Как он красив и высок,
нашей пещеры бог!

Но всего нам милей и краше
ражая девка с блестящей косой,
как она славно пляшет
на полях с кровавой росой.
Когда б с ней не плясали, не пели,
куда б себя дели?

Новый Мопассан

Кто-то говорит паралич, а по-учёному – инсульт:
долбануло меня вечером – смотрел телевизор,
переключаю программу, нажимаю на пульт, –
не получается, хочу крикнуть: «Лиза!»,
а изо рта мычанье какое-то «му-у-у-у»,
так из шины проколотой выходит воздух,
и лежу теперь пень пнём, полное муму,
Лиза шутит: «ушел на заслуженный отдых».
Это она к тому, что я выпивал,
но ведь все вокруг пьют изрядно,
я ничем не выделялся – жил-поживал,
сделал ремонт, в кухне теперь опрятно,
почему же мне достался этот скандал?
Непонятно.

Лиза ухаживает, ничего не скажу,
говорит: с утра и до ночи маюсь.
Я теперь, что мебель, лежу и лежу,
и, как та же мебель, в уборке нуждаюсь.
Правда, иногда придёт с мужиком,
занавеску задернёт, бутылку поставит...

Я её понимаю, хоть в горле ком, –
женщина должна нужду свою справиться.
Я стараюсь не слышать, но не могу:
эти звуки ритмичные с тихим похныком
отдаются в моём повреждённом мозгу, –
поневоле ждёшь последнего вскрика.
А вообще-то ничего не ждёшь, пока светло
ещё так-сяк, ночью совсем плохо...
Тело моё, собственно, уже мертво,
вот бы ещё сознание угрохать.

Сомнение

Хорошо родиться собакой в Америке,
плохо родиться человеком в Африке...
Но это, если знать, как живётся собакам в Америке,
а не зная, хорошо родиться человеком и в Африке,
если, конечно, ты не тутси,
которых режут хуту,
или как-то наоборот,
но ведь и в Америке большая собака
может ненароком загрызть маленькую...

Так что, уж и не знаю,
где и кем хорошо родиться.

Хайдеггер

Хайдеггер? Выскрёбывали дно
слов и поступков, дневников и лекций...
Да, он оказался антисемитом. А заодно
антибританцем, антиамериканцем и даже
антинемцем.

Станешь тут «анти» с этим человеческим племенем,
забывшим суть, обожествившим дизайн...

Да горит оно огнём в очистительном пламени,
разожжённом такими же выродками. Dasein.

Так вопит и проклинает, корчится и плавится,
на кресте своей мысли распятое «Я»,
нарекая евреем мир, который ему не нравится,
становясь антисемитом бытия.

Dasein – произносится «дазайн», основной термин философии Хайдеггера, переводится разными переводчиками, как «присутствие», «здесь-бытие», т.е. бытие, проживаемое человеком в его полноте здесь и сейчас.

Американская элегия

О, всего несколько строк, –
многим негде и притулиться
в этом маленьком городке
с холмистыми чистыми улицами.
Скрюченный прошлогодний лист
скребёт тротуар, цепляясь за урну,
зелень газонов, как пианист,
играющий слишком бравурно.
Ну, ещё понурые машины у обочин,
брошенные наспех, с обиженным выворотом колёс,
и дома, взасос
сглатывающие хозяев богатых вотчин.
В их нутре голо, как на античной сцене:
ужин, телевизор, пятнающий стены
дьявольскими отблесками цветных бедствий,
дети угомонились в детской.

Секс – всё реже и реже, эта усталость,
будто ты себе не ближний, а дальний,
не заснуть от зудящего «з-з-зачем?»,
комаром залетевшего в спальню.

Такой кровосос вполне истребим
пробежкой в дурмане тумана, утренним кофе,
работой, где ты совершенно незаменим, –
настоящий «профи».

Это всё.

Да, я забыл сказать
об одном дереве, растущем
так, словно ему никем не нужно стать,
только ветвиться гуще и гуще,
только так и остаться в твоих глазах:
Лаокооном, синь неба рвущим.

По следу Горация...

Грубая сила зимы стихает, земли оттаявшей духом
полнится грудь, как тогда, в чутко зверином детстве
возле богини фонтанной, застывшей холодным испугом
в мраморном девстве.

В ссоре с порядком вещей, в соре листы прошлогодней
свой начинает богиня медленный танец круженья,
отсвет бросает, босая, на плиты, а по подворотням –
крадкие тени.

В них узнаёшь всех ушедших, их быстрые метки:
вот обозначился профиль знакомый в велюровой шляпе,
тянется тень пластилиновой памятью, рвётся из клетки
времени – к папе.

Рядом другой силуэт наклонился, так виснет ветвями
ива над озером слёзным, и так безнадёжно-покорно

в озеро жизни случилось глядеться испуганной маме,
с дном его сорным.

Грозно танцует богиня, такт отбивает с азартом,
дверь открывает без всякой отмычки любую,
будем играть с нею честно, хоть мечены карты,
в дудочку дуя.

Друг мой счастливый! Твой срок отплясала богиня.
Как ты любил этот танец, простое изящество линий,
тех, что выводит теперь только зимний закат на могиле
инеем синим.